

К ЧЕХОВСКОЙ ГОДОВЩИНЕ

Советский народ, несмотря на колоссальное напряжение войны с врагом, широко отмечает сорокалетнюю годовщину со дня смерти Чехова. Имя и слово великого писателя с особой любовью и сплыв прозвучит в эти дни по всей стране, «и назовет его всяк сущий в ней язык».

Но наши годовщины и юбилеи примечательны не только тем, что выполняют задачу широчайшей популяризации среди масс людей подвигов и дел наших богатырей и гениев. Они составляют обычно заметную веху в изучении их жизни и творчества, дают их переоценку с точки зрения больших задач современной жизни. Такое переосмысление должно быть сделано и по отношению к Чехову.

Установившаяся издавна традиция прочно закрепила за периодом 80-х годов, когда выступил Чехов, репутацию сплошного и беспросветного общественного мрака, глухого и тяжелого безвременья. Дореволюционные ученые и беллетристы из либерального и народнического лагеря использовали, кажется, все синонимы темноты и безнадежности, чтобы внушить читателям мысль о полной парализации сил революционной борьбы и о скованности всех социальных отношений в эти годы. За ними до сих пор покорно следуют и некоторые наши историки и литературоведы, а от них соответственное освещение передается в школу — не только среднюю, но и высшую.

Но легко видеть, что, по существу, исследователи, которые принимают такую характеристику, становятся вольно или невольно на точку зрения тех людей 80-х годов, которые не видели перспектив общественного развития. Они упускали из виду или игнорировали те

зачаточные моменты и формы рабочего движения 80-х годов, которые открывали грандиозную перспективу в будущее. Кризис народнической формулы прогресса и народнического движения рассматривался при такой трактовке вопроса как кризис и приостановка вообще всякого прогрессивного движения.

Узость и ограниченность такого понимания совершенно очевидны: считать период, когда «рабочее движение продолжало расти, охватывая все новые и новые районы» («Краткий курс истории ВКП(б)»), когда «за пятилетие (1881—1886 гг.) было более 48 стачек с 80-ю тысячами бастовавших рабочих» (там же), когда на опыте морозовской и других стачек рабочие учились понимать, что они «многое могут добиться организованной борьбой», когда группа «Освобождение труда» подняла знамя марксизма и уже подготавливала марксистскую социал-демократическую партию в России, — считать этот период «безвременьем» и эпохой беспросветного мрака значит впасть в грубую ошибку и итти против очевидных фактов. Реакция действительно составляла в 80-е годы наиболее заметный на внешней поверхности факт. Трагическая растерянность некоторых групп интеллигенции действительно больше всего бросалась в глаза тем, кто привык судить о духе эпохи по сочинениям учителей народничества. Но объективно и с точки зрения исторической перспективы 80-е годы были временем подспудного созревания революционных сил.

Отсюда становится понятным отношение к Чехову современной ему критики. Когда Чехов выступил со своими рассказами-минюрами, истраченным веселостью и смехом, господствовавшая народническая критика исполнилась негодования. «Он смеется! Как он смеет смеяться, когда мы в тоске и трауре! Он

— опустошенный человек, расходующий свой талант на пустяки и мелочи. Куда приведет его бездельность и общественное равнодушие?» — таков был смысл заявлений таких столпов тогдашней критики, как Михайловский и Скабичевский.

Это, понятно, раздражало Чехова. А. М. Горький записал его грустное заявление: «Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю... Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление: он написал, что я умру в пьяном виде под забором».

Нам нужно решительно отбросить встречающиеся кое-где и донные отголоски этих вредных рассуждений о бездельном веселонаравии Чехова. Чехов в своих произведениях не кричал, не заклинал и не проклинал. Он усвоил манеру внешне-спокойного, на первый взгляд даже беззаботного показа явлений жизни. Но это были вовсе не натуралистические бездельные зарисовки: его рассказы вскрывали черты действительности неизмеримо глубже, десятков самых объемистых народнических повестей, они говорили читателю, как много рабьего и пошлого духа, гнусных крепостнических пережитков, собственничества и хищничества, подлого глумления над человеком сохранялось под оболочкой кажущегося благополучия русской жизни.

И когда даже много лет спустя нашему учителю И. В. Сталину потребовалось разоблачить остатки тупого и грубого административного, еще сохраняющегося кое-где, он дважды (в статье «Головокружение от успехов» и в ответе комсомолу Иванову) использовал образ чеховского учителя Пришибеева. Когда товарищ Сталин гневно обрушился сокрушительным ударом на попытки врагов внести обывательскую трусость в ряды нашей великой партии, он использовал образ чеховского «человека в футляре»

Беликова. Вот какую громадную идейную силу заключают и по сей час эти маленькие рассказы Чехова

После того, как Чехов перешел к крупным повестям, изображавшим жизнь наиболее известных ему социальных слоев — разночинной интеллигенции, чиновничества, дворянства, крестьянства, — его начали отождествлять с его «хмурыми» героями и журить за то, что он пессимист, не видящий путей жизни, нытик, распространяющий безверие и общественную апатию.

Это опять-таки глубоко и законно возмущало Чехова. И. А. Бунин передавал такой интереснейший разговор с ним:

«Читали, Антон Павлович? — ска- жешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

А он только покосится поверх плеча: —

«Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят «А вот еще есть писатель Чехов: нытик!». А какой я нытик? Какой я «хмурый человек»? Какая я «холодная кровь»? Какую я «жестокую критику»? Какой я «пессимист»? ...И слово-то противное: «пессимист»... Нет, критики еще хуже, чем актеры, на пелых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества».

В другой статье о Чехове Бунин прибавляет:

«Раздражался он редко, а если и раздражался, то изумительно умел владеть собой. Помню, например, как он однажды был взволнован характеристикой его таланта в одной книге, где говорилось о равнодушии Чехова к вопросам нравственности и общественности и о его мнимом пессимизме. И однако его волнение сказалось только в двух, сурово и задумчиво сказанных словах: — Форменный идиот!»

Не согласиться с Чеховым в этой характеристике нельзя. Но беда в том, что «форменные идиоты» оказали влияние и на последующее изучение Чехова. Некоторые до сих

пор убеждены, что Чехов приемлем для нас только критической стороной своих произведений.

Этот тезис нам тоже нужно решительно отбросить. Чехов действительно развенчивал идеалы иллюзорные и утопические, не оставляя от них камня на камне. Он безжалостно разбивал народническую веру в мужицкие устои, и в исцеляющую силу деревенской жизни. Он клеймил жалкие метания сотен интеллигентов, которые начинали с порывов к революционному героизму, а заканчивали погружением в болото обывательщины. Он всевал против иллюзий толстовского непротивленчества и категорически заявлял, что «в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в толстовском целомудрии и воздержании от мяса».

Но это вовсе не означало, что у него не было собственного жизненного идеала и что он пригласил читателей к безнадежной философии героев «Скучной истории». Чехов видел в нытье и безочаровании болезнь и проклятие своего поколения, он призывал к активному, действительному отношению к жизни. Устами Ирины из «Трех сестер» он заявлял: «Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл жизни, его счастье, его восторг... Работать нужно, работать». И в той же пьесе он говорит от имени другого героя: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро слудет с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку».

Таковы черты идеала человеческой жизни, запечатленного в творчестве и переписке Чехова. Стоит припомнить, что в Чехова был влюблен, его обожал такой страстный и активный борец, как Алексей Максимович Горький, который, конечно, был неспособен возвести Чеховский положительный идеал

отражает высокие и драгоценные качества русского народа и передового русского человека, — ненависть к паразитизму и насилию, жажду социальной правды, стремление видеть людей простыми, красивыми, гармоническими, духовную тонкость и внутреннюю деликатность, горячую любовь к Родине.

Воспитать в себе эти стремления в подневольной стране было нелегким делом. «Напишите-ка рассказ, — писал Чехов в 1889 году Суворину, — рассказ о том, как молодой человек — сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучавший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».

Эти строки жгутся, они показывают, как Чехов неустанно шел вперед и поднялся до больших человеческих идеалов, которые чудесно запечатлел в своих произведениях.

Вот почему товарищ Сталин включил его имя рядом с именем Горького в состав великих представителей русской нации.

Вот почему так естественно, что советский человек отдал Чехову в своем сердце такой хороший, такой ласковый уголок. И поэтому в день 40-летней годовщины со дня смерти Чехова советские люди понесут к его могиле и посвятят его памяти горячие чувства — благодарности и любви.

Е. А. БОГОЛЮБОВ — профессор Молотовского педагогического института.